




ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

Ольга Берггольц

Мой дневник
1941–1971

 КУЧКОВО
ПОЛЕ

Москва
2020

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос–рус)6
Б48

Изображения для издания предоставлены
Российским государственным архивом литературы и искусства

Редакционный совет

Российского государственного архива литературы и искусства

Т. М. Горяева (председатель), В. А. Антипина, Л. М. Бабаева, Л. Н. Бодрова,
Е. В. Бронникова, Т. Л. Латыпова, М. А. Рашковская, Н. А. Стрижкова, Е. Ю. Филькина, К. В. Яковлева

Ответственные составители

А. П. Гаврилова, Н. А. Стрижкова

Берггольц О. Ф.

Б48 Мой дневник. Т. 3: 1941–1974 / составление, текстологическая подготовка, подбор иллюстраций А. П. Гавриловой, составление, текстологическая подготовка дневников 1941–1944 гг. Н. А. Стрижковой; вступительные статьи Н. А. Стрижковой, А. П. Гавриловой; комментарии О. В. Быстровой, Н. А. Громова, Н. С. Романова. — М. : Кучково поле Музеон, 2020. — 840 с. ; 32 с. ил.

ISBN 978-5-907174-34-4

О. Ф. Берггольц (1910–1975) — поэтесса и автор мемуарной прозы, чей голос неразрывно связан с памятью о блокадном Ленинграде. Третья книга серии «Ольга Берггольц, Мой дневник» завершает полнотекстовую публикацию всех дневников поэтессы, хранящихся в ее фонде в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ). Записи послевоенных лет за редким исключением публикуются впервые.

Дневники содержат и суровую хронику жизни в осажденном городе, и более позднее разоблачение «казенной лжи о блокаде», и записи о драматично сложившейся послевоенной жизни. Они предельно откровенны, полны горечи и боли. Среди современников, о которых пишет О. Ф. Берггольц, — М. И. Алигер, Л. Арагон, А. А. Ахматова, Ю. П. Герман, Д. С. Данин, А. Т. Твардовский, Д. Д. Шостакович и др. Издание снабжено комментарием и вступительными статьями.

Для широкого круга читателей.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос–рус)6

На фронтисписе:
Ольга Берггольц
1942

© Российский государственный архив литературы и искусства, 2020
© Берггольц О. Ф. (наследники), текст дневников, 2020
© Быстрова О. В., комментарии, 2020
© Гаврилова А. П., составление, текстологическая подготовка, вступительная статья, подбор иллюстраций, 2020
© Громова Н. А., комментарии, 2020
© Романов Н. С., комментарии, 2020
© Стрижкова Н. А., составление, текстологическая подготовка дневников 1941–1944 гг., вступительная статья, 2020
© ООО «Кучково поле Музеон», оригинал-макет, издание, 2020

ISBN 978-5-907174-34-4
Тираж 1400 экз.
Заказ № 9482

Содержание

Наталья Стрижкова. «Я говорю, держа на сердце руку...» 7
Анна Гаврилова. От составителей 26

Мой дневник

1941 31
1942 101
1943 263
1944–1945 303
1946 317
1947 331
1948 377
1949 407
1950 449
1951 455
1952 469
1953 485
1954 491
1955 521
1956 527
1957 543
1958 583
1959 597
1960 605
1963–1964 617
1965–1966 625
1971 633

Комментарии

1941 год.....	649
1942 год.....	679
1943 год.....	717
1944–1945 годы.....	727
1946 год.....	730
1947 год.....	736
1949 год.....	758
1950 год.....	766
1951 год.....	766
1952 год.....	767
1953 год.....	772
1954 год.....	775
1955 год.....	786
1956 год.....	787
1957 год.....	795
1958 год.....	808
1959 год.....	811
1960 год.....	813
1963–1964 годы.....	816
1965–1966 годы.....	818
1971 год.....	820
Список аббревиатур.....	824
Именной указатель.....	826

«Я говорю, держа на сердце руку...»

«Ольга Берггольц. Мой дневник. 1941–1971» — третья и заключительная книга научно-издательского проекта по изучению и публикации всех дневников О. Ф. Берггольц, хранящихся в ее фонде в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ. Ф. 2888).

Дневники О. Ф. Берггольц вела с 13 лет и до конца жизни, они охватывают годы с 1923 по 1971 г. При подготовке к изданию весь корпус записей был разделен на следующие периоды: дневники отрочества и юности (1923–1929)¹, дневники 1930–1941 гг.², записи с начала Великой Отечественной войны (1941) до октября 1971 г. (в последнем хранящемся в РГАЛИ дневнике)³.

Война для Ольги Берггольц стала периодом «жесточкого расцвета». Всю блокаду она находилась в Ленинграде, с августа 1941 г. по радио (единственный способ связи людей с внешним миром) ее голос, обращенный к простым ленинградцам, «покорял горожан своей естественной, без надрыва интонацией... она говорила от их лица, находясь на пределе своих физических возможностей»⁴. В эти годы были написаны ее самые крупные и значимые произведения «Февральский дневник», «Ленинградская поэма», «Письмо на Каму», «Второе письмо на Каму», «Разговор с соседкой», знаменитые, ставшие почти народными, строки «Сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам», «Бедный ленинградский ломтик хлеба — он почти не весит на руке», и венчают эту военную лирику ее слова-молитва, выбитые на мемориале Пискаревского кладбища «Никто не забыт, ничто не забыто».

Эта совокупность личного мужества и живого, живительного поэтического слова — простого в своей подлинности и искренности («Пре-

красные и больные» строки), воспевающего не подвиги героев, а жизнь и смерть обычного человека, навсегда утвердила непререкаемый нравственный авторитет легендарной «Ленинградской мадонны».

*Я говорю за всех, кто здесь погиб.
В моих стихах глухие их шаги,
их вечное и жаркое дыханье⁵.*

Но помимо поэтического слова, которое она также называла «интимным документом эпохи»⁶, для Берггольц было важно сказать правдивое слово о Ленинграде, рассказать о том пережитом, что невозможно было написать в стихах и прочесть по радио, о чем запретили говорить после войны, но что «разъедало душу, как ржавчина» все последующие годы. «А для слова — правдивого слова о Ленинграде — еще, видимо, не пришло время... Придет ли оно вообще?»⁷

Эти правдивые слова она писала почти ежедневно, под грохот бомб, в холоде и голоде, в своем дневнике. Время для них наступило, и среди уже опубликованных свидетельств современников-блокадников⁸ должен был наконец прозвучать голос Ольги Берггольц, ее исповедь «по праву разделенного страдания».

Публикация Блокадного дневника существенно изменила канонический героический образ Ленинградской мадонны и открыла ее «вторую», подлинную жизнь — сопричастность личной судьбой общей трагедии, боль личных утрат, потерю веры и желанья жить, рефлексию мучительного осмысления происходящего, опережающее свое время понимание правды, сказать о которой нельзя было еще много десятков лет.

В блокаду Берггольц потеряла любимого мужа Николая Молчанова — он умер от дистрофии; в дневнике она описывает эти мучительные дни его умирания. Ее отец Федор Христофорович Берггольц, военный врач, был выслан из Ленинграда за фамилию немецкого происхождения, и даже слава и популярность Ольги его не спасли (она боролась, делала все что могла). Больной и истощенный, он был отправлен в Красноярск, (по возвращении оттуда после войны вскоре умер в 1948 г.). И ежедневно она переживала трагедию умирающего от голода и холода города, не покидая его, фиксировала и анализировала страшную повседневность, сама опухая от голода:

«Люди, падающие на улицах страшнее падающих бомб»⁹.

*Я еще забуду тебя, Ленинград... 18
9 марта 1942 года Москва.*

Между двумя страницами, которые я написала в яшике в Ленинграде 24 июня 1941 года и сгоревшими днем прошло почти 9 месяцев войны. Между двумя этими страницами я могу вложить довольно много мыслей, воспоминаний, переживаний, сделанных за эти войны.

Я долго не решалась продолжать эти записки в яшике в Ленинграде. Как все, это было до войны — это Ленинград со всеми ее переживаниями — мучительной ранней зимой. Второе — пытаясь ранней, пытаясь. Я не записывала ничего лишнего, кроме раб и мысли. Но, что пишу тебе, меня, забываешь обо мне — их глубоко забывают. Да и мне и не надо ничего писать.

За это время, непрерывно записки о которых уже упоминаю между двумя страницами... хотела переписать, это было за это время, но просить переписать — невозможно, и даже для простого переписывания нужны силы.

Я с удивлением пишу тебе, переписывая свою записку от 4/17-41. Да, той той и вышло: война стесала Колю, много Колю, души, счастья и жизни.

Я страдаю отчаянно.

Страница дневника

Ольги Берггольц

9 марта 1942

Автограф

«Смерть бушует в городе. Он уже начинает пахнуть, как труп. <...> Даже экскаваторы не справляются с рытьем могил. Трупы лежат штабелями, в конце Мойки целые переулки и улицы из штабелей трупов. Между этими штабелями ездят грузовики, с трупами же...»¹⁰

«Зашла к Ахматовой, она живет у дворника (убитого артснарядом на ул. Желябова) в подвале, в темном-темном уголку прихожей, вонючем таком, совершенно достоевщицком, на досках, находящихся друг на друга, — матрасишко, на краю, закутанная в платок, с ввалившимися глазами — Анна Ахматова, муза плача, гордость русской поэзии — неповторимый, большой, сияющий Поэт. Она почти голодает, больная, испуганная. А товарищ Шумилов сидит в Смольном в бронированном удобном бомбоубежище и занимается тем, что даже сейчас, в трагический такой момент, не дает людям вымолвить живого, нужного, как хлеб, слова... А я должна писать для Европы о том, как героически обороняется Ленинград, мировой центр культуры. Я не могу этого очерка писать, у меня физически опускаются руки»¹¹.

Но, несмотря на все пережитое, в конце войны она напишет:

«Я счастлива.

*И все яснее мне,
что я всегда жила для этих дней,
для этого жестокого расцвета»¹².*

Парадоксальная особенность дневников военных лет — острота переживания жизни перед лицом смерти — уже отработана исследователями. Но для Берггольц это было не состояние аффекта от трагизма момента, а результат долгого и выстраданного пути к себе, своему предназначению, к пониманию времени и своего места в нем. В блокаду ее жизненный путь сошелся в той кульминационной точке, когда был найден смысл всего пережитого до и все последующие годы обрели особый, высший смысл.

Блокадный дневник является, таким образом, камертоном для прочтения всех дневников от юности до смерти, которые вышли уже по хронологии и составили трехтомное издание.

В данной книге военный дневник публикуется вместе со всем корпусом послевоенных записей. И в этом единстве прочтения всех книг раскрывается феномен дневника Ольги Берггольц — жизнетворчество через Слово, текст, рожденный в процессе осмысления

жизни и одновременно эту жизнь созидающий. Подобное определение своему дневнику дал и Михаил Пришвин — «творил саму жизнь... чтобы слово стало плотью»¹³.

Особенно отчетливо это жизнетворческое значение дневника было осознано и сформулировано Берггольц именно в дни блокады.

«А я должна писать. Я должна что-то делать, чтоб выжить, чтоб не сойти с ума, не лечь...»¹⁴

«Мне надо перестать вести дневник. Это садизм»¹⁵, — пишет она 11 февраля 1942 г. Однако продолжает его вести, потому что это становится способом утверждения жизни, способом обретения смысла: *«...Надо выжить, и написать обо всем этом книгу...»¹⁶*

Понять истоки этого жизнеутверждения позволяет прочтение ранних дневников и записей 1930-х гг.

Поиск и обретение своего пути — поэтического и жизненного — это главная тема уже юношеского дневника. Рожденная на переломе эпох, Берггольц принадлежала к поколению тех, кто формировался в контексте всеобщих социокультурных изменений, созидания «нового мира». И острота переживания времени, жажда осмысления его, необходимость со-участия, самоидентификация, сильное интуитивное ощущение предназначения — были свойственны ей с детства. В 13 лет она заявила:

«Я хочу, чтобы звуки моей песни носились повсюду, чтобы они, эти скромные песни, врачевали разбитых, усталых людей, чтобы всякий, кто бы ни прочел их, мог снова смотреть на жизнь с хорошей стороны. Нет, я не хочу быть классическим, гениальным поэтом, т.е. очень хочу, но... как бы мне выразиться... Ну, я стремлюсь большей частью не к славе, а к помощи, душевной помощи людям»¹⁷.

Ее долгое поэтическое становление являлось этим поиском своего голоса, своих тем творчества, своего читателя, смысла своего служения. Она искала себя в новых литературных группировках и идеях 1920-х гг., в браке с талантливым поэтом Борисом Корниловым, в работе корреспондентом на Кавказе и в степях Казахстана, фиксируя повседневность великой советской стройки, в энтузиазме рабочих будней в газете завода «Электросила», в попытках написать документальный роман о предприятиях, во вдохновенном сотворчестве в проекте Горького «История фабрик и заводов» и даже в яростной агитации борьбы с «врагами народа» в начале 1930-х гг.

И все это безоглядно, на разбеге, с самоотдачей, увлеченностью, любовью, искренностью. Как впоследствии вспоминал ее современник писатель Александр Крон, «Ольге было свойственно самозабвенно отдаваться любовному чувству, но любовь для нее была понятием гораздо более всеобъемлющем, чем любовная страсть. <...> Она любила свой город, свою страну, и это была не абстрактная любовь, позволяющая оставаться равнодушной к частным судьбам»¹⁸.

Годы юности, первая половина 1930-х гг., были проникнуты этой любовью, открытостью, наивным энтузиазмом, верой в мечту о коммунизме. И даже личная трагедия — смерть двух дочерей — не выбили ее из этого, как ей казалось, общего дела созидания жизни. Что не исключало анализа и глубинного понимания происходящего, поиска правды. Хотя о том, что теория расходится с жизнью, она догадывалась тогда интуитивно-смутно, все сомнения и критика возникали в рамках верности общей теории. Такова суть идеологии: «ложное сознание — это не способ сознательного обмана, а способ бессознательного самообмана. <...> В любой идеологии присутствует подлинное начало — истинное желание»¹⁹.

Истинным желанием Ольги Берггольц всегда была потребность своей стране, участие, служение людям, высоким идеалам, правде («В моих произведениях с юности ничего не было не достоверного, не взятого из жизни»²⁰). Изначально необходимость высшего духовного смысла — веры — была привита семьей в детстве через религиозное чувство и сохранилась на всю жизнь, невзирая на смену идейно-идеологической парадигмы.

Утрата этого необходимого ей подлинного начала, а вместе с ним и смысла жизни, произошла после ареста и шести с половиной месяцев в тюрьме в 1938–1939 гг.

«Второй раз из этого дома меня увезли в тюрьму, и с нее началась вторая смерть, — смерть “общей идеи” во мне. Я не живу; я живу вспышками, путем непрерывных коротких замыканий, но это не жизнь. Я живу по инерции, хватаюсь, цепляюсь за что-то, и за работу, и за пижаму, но это непрерывное бегство от самой себя. Доктор сказал, что мне надо пойти к психиатрам. Зачем? Что они могут восстановить во мне? Я с удовольствием скажу им, что мне нечем жить, потому что насущнейшая моя потребность говорить людям именно об этом, и это тоже бегство, т.к. я слишком слаба, чтоб таскать все это в самой себе,

но чем, чем они мне могут помочь? Какую новую опору дадут они мне? Я круглый лишенец. У меня отнято все, отнято самое драгоценное: доверие к Советской Власти, больше, даже к идее ее... “Как и жить и плакать без тебя?” <...> У меня отнята даже возможность “обмена света и добра” с людьми»²¹.

Война вернула смысл и возможность (даже необходимость) «обмена света и добра» с людьми. Война стала освобождением от экзистенциального тупика, вернула Родину, но уже вне временных идеологических рамок.

«Так вот, 22 июня 1941 года, когда была объявлена война, тюрьма отошла и простилась. <...> Я погрузилась в работу, другие — массовые мысли и чувства, овладели душой, довоенная подавленность исчезла, что страшнее всего, что и у меня и у Коли²² совсем исчезло пресловутое томящее “чувство временности”, как будто именно для этих гибельных дней войны мы и жили, ждали только ее»²³.

Сама Берггольц определила это как наступление зрелости, хотя был ей тогда всего 31 год.

Вера Кетлинская, руководитель Ленинградского отделения Союза писателей, вспоминала о том, как Ольга пришла в первые дни войны: «На вид — по-прежнему, девочка, но девочка взволнованная и собранная, внутренне готовая к страданиям и подвигу»²⁴.

Таким образом, к своему «жестокому расцвету», наступившему в войну, Ольга Берггольц шла долго. О том, что он будет жестокий, она мистическим образом предчувствовала с юности. В 15 лет в своем дневнике она записала сон:

«И вот, мне приснилось, т.е. представилось: лед, лед и лед. Земля умирает... Все разрушено... Нет ни Парижа, ни Нью-Йорка, ни Лондона, ни Москвы... Все погибло... Ни день, ни ночь — какой-то серый мрак... Люди столпились в кучку, жмутся друг к другу... Им холодно... Чувств не осталось; жить, жить, наслаждаться жизнью, ее красотой, всяким ее движением... Земля и люди умирают... Звезды такие холодные... Холодно... О, если б знать о близкой гибели... Люди жмутся друг к другу»²⁵.

В блокадном дневнике эта картина оживает уже в страшной реальности: «18 декабря 41 г — как шли пешком по озеру обезумевшие от голода люди, мерзли, тащили на саночках скарб и детшек, те замерзали, и матери везли их замерзших, пока не падали и не замерзали сами. Люди шли и ехали через озеро на грузовиках,

бывало, что прибывший на ту сторону грузовик был на 3/4 набит уже окоченевшими людьми. Они пытались вырваться из рук [мерзущ<его?>] умирающего города... Лед и адская стужа, и свирепые огневые бомбежки сверху, — ад, ад в полном смысле слова, так, как из века в век представлял его человек»²⁶.

И в это апокалиптическое время воплощается ее в детстве себе пророчески предсказанная миссия — поэта, исцеляющего стихами: «А это ведь и в самом деле грандиозно: ленинградцы, масса ленинградцев лежит в темных, промозглых углах, их кровати трясутся, они лежат в темноте ослабшие, вялые (господи, как я по себе знаю это, когда лежала без воли, без желания, в ПРОСТРАЦИИ), и единственная связь с миром — радио, и вот доходит в этот черный, отрезанный от мира угол — стих, мой стих, и людям на мгновение в этих углах становится легче, — голодным, отчаявшимся людям. Если мгновение отрады доставила я им — пусть мимолетной, пусть иллюзорной, — ведь это неважно, — значит, существование мое оправданно»²⁷.

А в письме к отцу она пишет: «К вашей дочери, папа, пришла настоящая слава, не через статьи, не через чины, а снизу, от самого народа, и слава почетная “ведь Вы правду пишете”, — говорят мне всюду. Это народное признание бесконечно дорого мне, и я желаю только одного — оправдать его в дальнейшем»²⁸.

Способность писать правду, чувствовать живой пульс жизни народа, страны была для Берггольц столь ценным обретением, что в недолгую эвакуацию в Москву спокойная и относительно сытая жизнь была определена ею как «сумма удобств», в которых ЖИТЬ нельзя»²⁹. Оправдать обретенное понимание подлинной жизни — стало идеей, определившей всю дальнейшую жизнь Ольги Берггольц: «Это история не только физических, но духовных метаморфоз. <...> Это именно то, что произошло с блокадными людьми — выжили они или не выжили, но все вошли в блокаду одними, а вышли из нее другими, как будто прошли через некое горнило, врата. Это какая-то мистерия, библейская история»³⁰.

Берггольц тоже определяла войну и блокаду как «библейскую грозу», в дневниках часто встречается строчка «Аще забуду тебя, Иерусалиме...»³¹.

Все это важно для понимания ее послевоенных дневников, в котором уже звучит ее зрелый голос и стремление сохранить подлинную

внутреннюю свободу, понимаемую не как служение или сопротивление идеологическому режиму, а как единственно возможная форма бытия, делающая человека современным своей эпохе, нужным обществу и культуре, вне зависимости от политических метаморфоз. Именно это помогало ей осмыслить советскую эпоху как сложный, драматический, противоречивый, но грандиозный период истории, в центре которой находится человек с его ошибками, заблуждениями, страданиями, потерями и великими победами. Это было обретение второй Родины как создаваемое собственным творчеством и осознанными поступками пространство бытия:

«...Понимаю это сердцем, вижу, что и после войны ничего не изменится. Это — как окна в небе. Но я знаю, что нет другого пути, как идти вместе со страдающим, мужественным народом»³².

Новое ее сознание уже не было подвержено идеализации. Она отмечает «ужасную пропасть между государством и народом», ошибки командования, замалчивание блокады, цензуру (прочтение по радио «Февральского дневника» в дни войны потребовало особого разрешения), борется с несправедливостью ареста и высылки отца НКВД. Но это трезвое понимание действительности не лишает ее желания участвовать в общей жизни, служить стране.

«Воюю за свободу русского слова, — во сколько раз больше и лучше поработали бы мы при полном доверии нам! Воюю за народную советскую власть, за народоправие, а не за почтительное народодействие. Воюю за то, чтоб честный советский человек жил спокойно, не боясь ссылки и тюрьмы. Воюю за свободное и независимое [<1 сл. нрзб>] Искусство. Ну, а если всего этого не будет... посмотрим!»³³

После войны всего этого, конечно, не было. Для того чтобы следовать выбранной стезе правды, приходилось лавировать, выбирать, подставляться под удары, отступать.

Уже в 1946 г. наступают сложные времена. Выходит постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», начинается травля Анны Ахматовой и Михаила Зощенко. Ольга Берггольц по праву обретенного голоса кидается их защищать, выступает с публичным осуждением постановления. За это сама попадает под цензуру, ее обвиняют в «идеологических ошибках», в «увлечении темой страдания», подвергают публичной критике на Общегородском писательском собрании, исключают из правления Ленинградско-

го отделения Союза писателей. Вскоре началось «Ленинградское дело», по городу прошла волна арестов. Был разгромлен Музей обороны Ленинграда, говорить о трагедии блокады было запрещено, потому что Победа оправдывает все страдания. Из Публичной библиотеки была изъята книга «Говорит Ленинград» (сборник радиовыступлений Берггольц). Кольцо идеологии снова сомкнулось. От повторного ареста Берггольц спасли небывалая слава и огромный авторитет в Ленинграде. За поддержку Ахматовой и Зощенко ей пришлось признать ошибочность своих статей об Ахматовой. О своей общественной деятельности она напишет *«На собрание целый день сидела, то голосовала, то лгала»*³⁴. Стало понятно, что надежды на свободу и справедливость после войны не оправдались. Способом жизни продолжали быть работа, служение памяти, творчество.

Послевоенное творчество Берггольц обретает особое качество и содержание. В конце войны вышла поэма «Твой путь» (за которую она и подверглась критике), в 1948 г. опубликован сборник стихов «Избранное». Написана поэма «Первороссийск» — о первом советском обществе коммунаров-землеробов на Алтае. Через эту тему Берггольц пытается сохранить важную для нее поэтическую интонацию — воспевать подвиг жизни (*«И особенно радуется меня — большой читательский успех поэмы. Нет, я не подвела их, тех, кто любил меня во время блокады. Поэма чиста и честна»*³⁵), — но в первой редакции вынужденно заканчивает поэму именем Сталина (уступка времени) *«а когда хвалили «Первороссийск», у меня не было такого чувства — до конца, все чего-то саднило, из-за Сталина, всаженого туда очень нарочито»*³⁶.

В 1952 г. совершает вместе с другими писателями важную для себя поездку на строительство Волго-Донского канала, публикует об этом очерки в прессе в духе официоза, но в стихах «Из цикла Волго-Дон» пытается «прорваться к правде, обращается к читателю, способному раздвинуть смысл прочитанного и услышать недосказанность боли за словами о “дозорной вышке” и “котловане за колючей проволокой”»³⁷. А в дневнике записала:

«Да, люди возводят египетские сооружения, меняют местами облик земли, они радуются созданию своих рук, результату каторжных своих усилий, я сама видела это на пуске Карповской станции, на слиянии Волги и Дона, — но это — радость каторжан,

*это страшнейшая из каторг, потому что она прикидывается “счастливой жизнью”, “коммунизмом”, она драпируется в ложь, и мне предложено, велено драпировать ее в ложь, воспевать ее (а не “простых тамошних людей”, как уверял Юра), и я это делаю, и всячески стараюсь уверить себя, что что-то “протаскиваю”, “даю подтекст”, и не могу уверить себя в этом»*³⁸.

С начала 1950-х она приступает к работе над Главной книгой, которую задумала писать еще во время войны. Книга мыслилась как история ее поколения, весь ее жизненный путь. Замысел частично воплотился в нескольких произведениях, поэтических и прозаических: первая часть автобиографической повести «Дневные звезды» (1959), поэтический сборник «Узел» (1965), в который вошли тюремные и блокадные стихи, и последняя книга «Память» (1972).

Во всем ее послевоенном творчестве преобладает исповедальное начало, стремление быть честной, хоть между строк сказать правду. Наступило время «собираения камней». В 1957 г. Берггольц добилась реабилитации Бориса Корнилова: Военная коллегия Верховного суда СССР отменила смертный приговор от 20 февраля 1938 г. и дело было прекращено за отсутствием состава преступления. При ее участии был выпущен сборник стихов Корнилова. Это, конечно, не вернуло его к жизни, но восстановило правду и память.

В художественной автобиографии «Дневные звезды», написанной в стиле открытого дневника, она вписала свою биографию в общую историю страны, судьбу своего поколения и впервые открыто произнесла покаяние за годы всеобщей лжи, о чем в своем дневнике писала многократно:

*«...Да, страшной лжи, годы мучительнейшего раздвоения всех мыслящих людей, которые были верны теории, и видели, что на практике, в политике — все наоборот, и не могли, абсолютно не могли выступить против политики, поедающей теорию, и молчали, и мучились отчаянно, и голосовали за исключение людей, в чьей невинности были убеждены, и лгали, лгали невольно, страшно, и боялись друг друга, и не щадили сил, и дико, отчаянно пытались верить»*³⁹.

«...Все это, чего не перечислить, не записать, составляет атмосферу нашего бытия, — где ложь почти единственная и, во всяком случае, преобладающая форма человеческих отношений, где комбинация определенных слов и понятий — только комбинация,

с условием единственного итога — заменяет решительно все: мысль, дерзание, спор, раздумье и т. д.»⁴⁰

Вторая часть «Дневных звезд» должна была быть еще более откровенной, дневниковой. Но ее Ольга Федоровна сделать уже не смогла.

Главной книгой жизни, истинной «мучительной книгой радости и скорби» оставался дневник, которому доверялась вся правда. Более насыщенные «плотные» записи продолжаются до 1953 г., затем приобретают характер спорадических, отрывочных, больше похожих на записные книжки.

Послевоенный дневник вместил описание правдивой жизни людей (Волго-Дон, деревня Старое Рахино): «Вот, все в этом селе — победители, это и есть народ-победитель. Как говорится, что он с этого имеет? Ну, хорошо, послевоенные трудности... но перспективы? Меня поразило какое-то, явно ощущаемое для меня, угнетенно-покорное состояние людей и чуть ли не примирение с состоянием бесперспективности»⁴¹.

Быстро наступает разочарование и в XX съезде партии, осудившем культ личности Сталина. Берггольц назвала его «провокацией». Полные горечи страницы о новой травле писателей: «“Подвергнуты уничтожающей критике” самые лучшие, самые передовые произведения минувшего года, где люди попытались заговорить по-человечески, где они были наиболее чистосердечны: “Не хлебом единым” Дудинцева, “Собственное мнение” Гранина, “Семь дней недели” С. Кирсанова, сборники “День поэзии”, “Литературная Москва”, деятельность Казакевича, Алигер, Твардовского, Тендрякова, выступления Паустовского, Каверина, Славина, Рудного и т. д. и т. д.»⁴².

Дневник обретал все большую ценность как хроника «второй жизни» — внутренней, правдивой, настоящей.

Она описывает встречи и диалоги с современниками — Зощенко, Германом, Твардовским, их беседы о том, что невозможно было говорить публично, личную жизнь и семейную драму, свою болезнь и лечение. Пережитые испытания, муки памяти («О, как меня завалило жгучим пеплом эпохи»⁴³), необходимость молчать, личная семейная драма — развод, одиночество, болезнь, психологический и нравственный надлом — все это запустило защитные механизмы психики в стремлении уйти от реальности. Дневник последних лет пишется в жанре повторяющегося сна, закольцованного сюжета:

воспоминания детства — «обратный путь за Невскую заставу», откуда все начиналось, смерть дочерей, счастливые годы жизни с Николаем Молчановым, его смерть, боль потери последней любви. Мысли ее повторяются, в памяти всплывают имена, события уже без хронологической последовательности. В ракурсе внутренней жизни последовательность не столь важна, ценнее сквозные экзистенциальные нарративы, для Берггольц это темы: любовь, правда, память, вера.

Первая исповедальная автобиография «Дневные звезды» построена именно так — вне хронологии, следуя высказанному Берггольц в годы блокады принципу «время исчезло». Фильм И. Таланкина «Дневные звезды» (1966) снят через эту же оптику сна с наслоением сюжетов и переплетением времен; как в калейдоскопе, фрагменты складываются в общую картину уже вневременной, вечной жизни, сохраненной в памяти.

В детском дневнике Берггольц, в самой первой тетради, есть запись вечерних молитв и ожидания Пасхи: «Лес шепчет сказку весенней ночи, река тихонько о берег плещет, и в небе ясном зажглись звезды, и месяц вышел и улыбнулся. Проснулись люди, что крепко спали, и улыбнулись весне и ночи, и прозвучало: “ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!”»⁴⁴.

И в последний период жизни она снова обращается к молитве: «...господи, — имя твое жизнь, судьба, кровь, — и я никогда не обижу тебя больше — унижением в себе твоего подобия. Только ты, господи, да я, — знаем, почему я так позорно и бездонно падала. Наверно, так было за чем-то надо. Но дай мне теперь взлететь, и все выстраданное воплотить и вернуть счастьем и светом, — ему, единственному моему человеку, и многим людям. Сделай чудо, господи, жизнь, сделай чудо, помоги мне»⁴⁵.

Этим томом завершается Главная книга Ольги Берггольц, где вся жизнь описана подробно на разрыв души, осмыслена для себя, для современников, для потомков.

Сама она понимала ценность своих записей и долг сохранить их, передать, донести до будущего поколения и рассказать всю правду об эпохе и людях, в ней живших, и о своей жизни правдиво. «Буду, буду много писать и думать, и не сойду с ума, и напишу все, что надо, — и увижу еще, что это станет достоянием человечества»⁴⁶.

Дневник она уравнивает с самой жизнью, которую невозможно переписать, исправить, вычеркнуть, забыть. Это очень важная особенность дневников Ольги Берггольц (в отличие от многих дневников советского времени) — она ничего не исправляла, не переписывала, не уничтожала. Могла лишь поверх записей позднее сделать вставку-комментарий. Хотя дневники писались с максимальной искренностью, откровенностью, честностью, с беспощадным самоанализом (порой самообличением). Много в них, помимо хронотопа эпохи, личного, сугубо интимного, женского. Но и эта сторона жизнь изложена откровенно-исповедально.

Именно такая, выбранная автором, наивысшая степень откровенности и честности дала моральное право составителям издания публиковать без купюр текст даже самых с этической точки зрения сложных фрагментов. Обоснование этого принципа однозначно — кто в праве изъять хоть слово из текста, выстраданного всей жизнью и именно в таком виде сохраненного автором? Сохраненного в надежде на будущий диалог с потомком.

Прочтение этого дневника — не легкая работа ума и души. Текст — «письменно зафиксированное выражение жизни, истолкование проделывает путь, обратный этой объективации жизненных сил и психических, а затем и в исторических связях <...> Именно через самопонимание мы имеем шанс познать сущее. <...> Преодолевая это расстояние, становясь современником текста, интерпретатор может присвоить себе смысл: из чужого, он хочет сделать его своим, собственным, расширение самопонимания он намерен достичь через понимание другого»⁴⁷.

Именно на такой диалог рассчитывала Ольга Берггольц, завещая свой дневник.

Наталья Стрижкова

От сердца к сердцу.

*Только этот путь
я выбрала тебе. Он прям и страшен.
Стремителен. С него не повернуть.
Он виден всем и славой не украшен.*

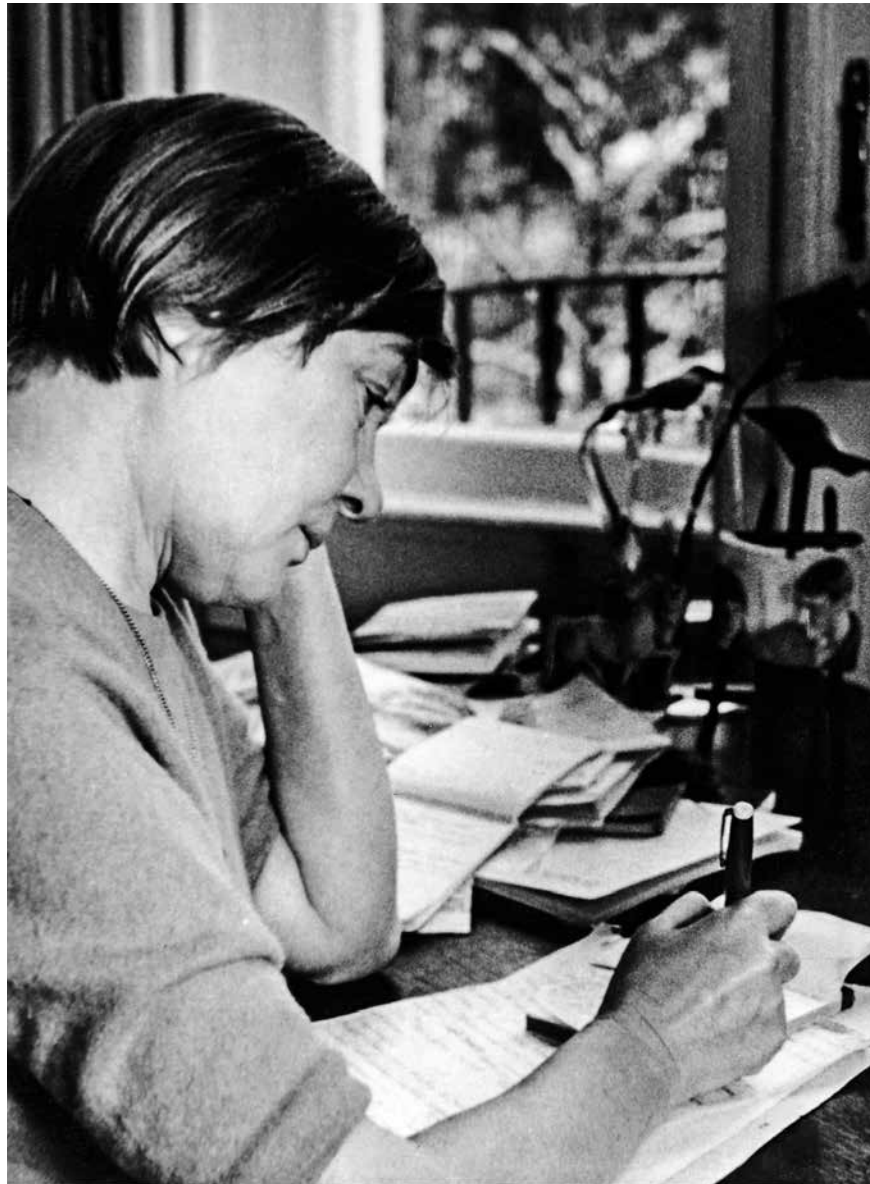
*.....
Я говорю за всех, кто здесь погиб.
В моих стихах глухие их шаги,
их вечное и жаркое дыхание.
Я говорю за всех, кто здесь живет,
кто проходил огонь, и смерть, и лед,
я говорю, как плоть твоя, народ,
по праву разделенного страданья...*

*И вот я становлюсь многоликой,
и многодушной, и многоязыкой.
Но мне же суждено самой собой
остаться в разных обликах и душах,
и в чьем-то горе, в радости чужой
свой тайный стон и тайный шепот слушать
и знать, что ничего не утаишь...
Все слышат всё, до скрытого рыданья...
И друг придет с ненужным состраданьем,
и посмеются недруги мои.*

*Пусть будет так. Я не могу иначе.
Не ты ли учишь, Родина, опять:
не брать, не ждать и не просить подачек
за счастье творить и отдавать.*

*...И вновь я вижу все твои приметы,
бессмертный твой, кровавый, горький зной,
сорок второй, неистовое лето
и все живое, вставшее стеной
на бой со смертью...*

(Август 1946)



Ольга Берггольц
1970-е

¹ В первой книге серии «Ольга Берггольц. Мой дневник. 1923–1929» (*Берггольц О. Ф. Мой дневник / сост., текстол. подгот., подбор иллюстраций Н. А. Стрижковой; вступ. ст. Т. М. Горяевой, Н. А. Стрижковой; коммент., указ. О. В. Быстровой, Н. А. Стрижковой. М.: Кучково поле, 2016. Т. 1: 1923–1929. 768 с.: 16 л. ил.*) опубликованы записи с 24 января 1923 по 24 ноября 1928 г. и запись на отдельном листе о дочери Ирине, датированная 20 марта – 14 мая 1929 г. В книгу не вошли уже опубликованные тетради этого же периода, хранящиеся в Рукописном отделе Института русской литературы (*Берггольц О. Ф. Дневниковые тетради 1923 года / вступ. ст., подгот. текста и коммент. Н. А. Прозоровой // «Так хочется мир обнять». О. Ф. Берггольц. Исследования и публикации: к 100-летию со дня рождения / [отв. ред. Н. А. Прозорова]. СПб.: Пушкинский Дом, 2011. С. 125–317*).

² Во второй книге серии «Ольга Берггольц. Мой дневник. 1930–1941» (*Берггольц О. Ф. Мой дневник / сост., текстол. подгот., подбор иллюстраций Н. А. Стрижковой; вступ. ст. Т. Ю. Красовицкой, Н. А. Стрижковой; коммент., указ. Н. А. Громовой, Н. А. Стрижковой. М.: Кучково поле, 2017. Т. 2: 1930–1941. 824 с.:*

16 л. ил.) опубликованы дневниковые записи с 17 июня 1930 по 20 июня 1941 г. Некоторые из них содержат приписки О. Ф. Берггольц военного времени. Выдержки из дневниковых тетрадей 1936 г. публиковались в сборнике документов «Между молотом и наковальной» (Между молотом и наковальной. Союз советских писателей СССР. Документы и комментарии / рук. кол. Т. М. Горяева; сост. З. К. Водопьянова (отв. сост.), Т. В. Домрачева, Л. М. Бабаева. М.: РОССПЭН, 2010. Т. 1: 1925 — июнь 1941 г. С. 975). Записи 1939–1941 гг. были опубликованы сестрой поэтессы М. Ф. Берггольц в журналах «Время и мы», «Звезда», «Знамя» и в альманахе «Апрель» (*Берггольц О. Ф. О ГУЛАГе невидимом: К публикации фрагментов дневника Ольги Берггольц / публ. М. Ф. Берггольц // Апрель. 1991. Вып. 4. С. 127–144; Она же. Из дневников / вступ., публ. и примеч. М. Ф. Берггольц // Звезда. 1990. № 5. С. 180–191; № 6. С. 153–174; Она же. Из дневников (май, октябрь 1949) // Знамя. 1991. № 3. С. 160–172*). Затем они были включены в издание «Ольга. Запретный дневник», вышедшее в 2010 г. (Ольга. Запретный дневник: дневники, письма, проза, избранные стихотворения и поэмы Ольги Берг-